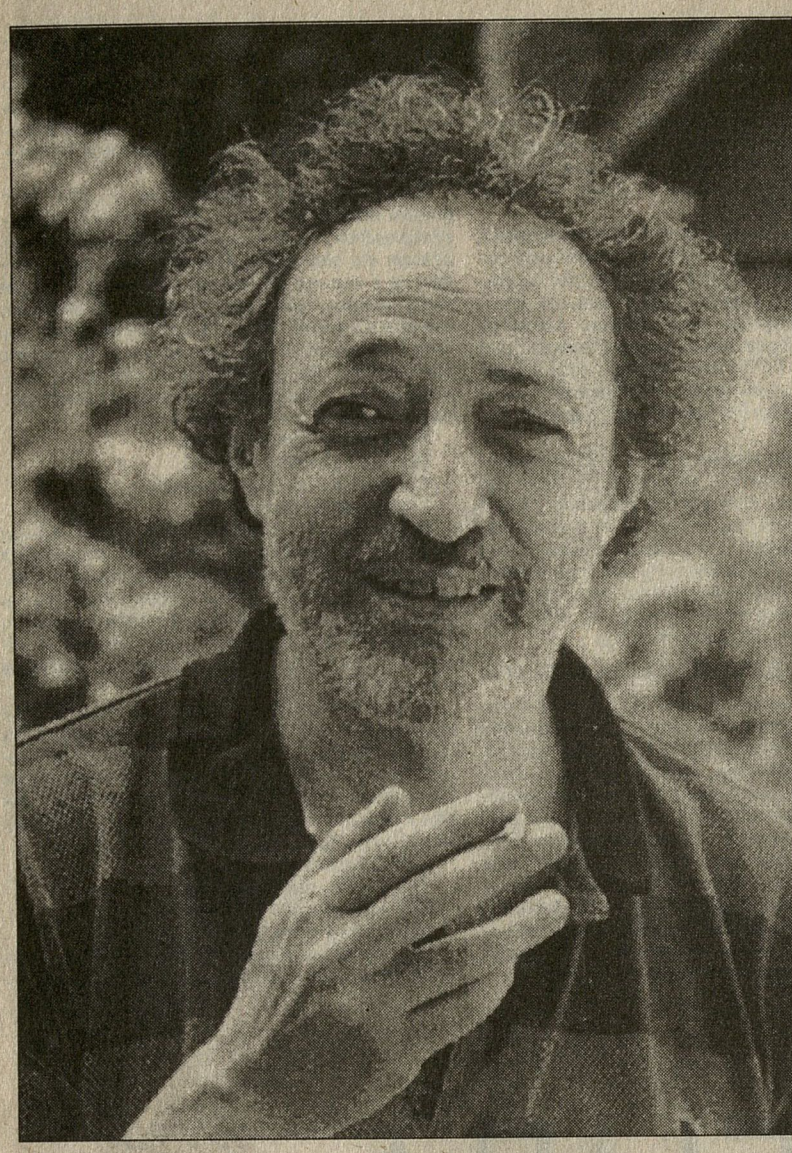


СТИХИ

СРЕДИ ДЛИННЫХ РЕК, СРЕДИ ПЫЛЬНЫХ КНИГ...

Стихи разных лет



А хорошая, признаемся, игра: звать в восточном, неславянском именем, с выразительнейшим — в ударном слоге ямбической стопы «Бахыт», числится среди своих предков неких казахов теократических персон, обитать в какой-то там Канаде, совсем, признаюсь, неведомой по опыту ни Баратынскому, ни даже Ходасевичу, — и писать на самом что ни на есть «аттическом» русском языке Золотого века особенно трогательное сердце на каких-нибудь негромких, подчеркнуто домашних оборотах вроде того чудного *нашарит* из одного давнего стихотворения, — притом же и не забывая пересыпать свои стихи по хорошему примеру Луккиана жаргоном московских дворишек. Игра трудная, она не для тех, кому медведь на ухо наступил; и для нее очень кстати отменная чувствительность слуха нашего поэта к выразительности тихих, неприметных согласных — не каких-нибудь там «р», «л», звонко сдвоенного «нн», а так, хоть «т» в строке «...означит сетью незаметной...», подготавливающей своим фонетическим шорохом «сентябрьского холста» в финале стихотворения.

По части того, чтобы пригласить согласные русского языка к самым разнообразным шорохам и шуршаниям, чтобы выстроить панораму прямо-таки стервскопической фонки, Кенжеев всегда был мастером, и благодарение небу, не перестает им быть; примеры не нужны, ибо это его умение, вовсе не спеша концентрироваться в каких-то особых фонетических эффектах, разлито по всему объему строк.

Какие именно тут возможны словесные нападения, отлично известно. То, кто входит в права наследника по отношению к наследию старого языка, нынче спешат укорить в «эпигонстве». Что же, эпигонами в преданиях греческой мифологии, как известно, именуются наследники семерых военачальников, шедших походом на Фивы, которые довершили дело своих отцов.

Поэт, не спешащий переселиться из дряхлеющего, но уважающего себя старинного дома языка в новомодную квартиру с членистоногой мебелью,

имеет в наши дни головную боль побольше, чем в старинном доме таков, что даже отголосок шутильной домашней болтовни поневоле серьезен, даже патетичен. Между тем воздух времени превращает любое серьезничанье в презлую карикатуру на себя. Как более полутора лет было объяснено в классическом русском стихотворении, вновь и вновь маячащем в кругозоре поэзии Кенжеева, *век шестует* путем своим железным — и далее по тексту (лучше всего, когда обе сравнительные формы отчетливой и бесстыдной идут одна за другой). Самый простой выход — переключиться на тотальное пересмеивание, уравнивающее все в равномерно-безразличном единстве; все наравне со всем априори подлечит пересмеиванию, которое уже не называет ни насмешкой, ни агрессивной именно в силу его безразличности. Риск при этом, конечно, устраняется. Но для поэзии Кенжеева, казалось бы, так любящей даже и умилку, такой аналгетический выход уж чересчур комфортен и беспроигрышен.

Остается напряжение между темой конца серьезничанья — и серьезностью, между «брось» и все той же «музыкой заочной», в ответе на упоминание коей и является «брось», как словесная запись негромкого вздоха. Именно Бахыт Кенжеев сказал запоминающиеся слова об исходе патетических лет, которые уж точно что процитирует будущий историк, — но это отрицание пафоса, признаемся, было куда как патетично: «И устающее ухо / слушает ночь напролет / дрожь уходящего духа, / цепь музыкальных длинот...»

Теперь и этот пафос отрицания пафоса ушел, и миг самой первой прощальной оглядки на былое — «Помнишь, как в дворишках русских...» — сам тем временем стал воспоминанием. Интонация тихая, мягкая, — все тише и тише, мягче и мягче, — влажностно инь явственно преобладает над жаром ян. Но дай Бог, чтобы тонус противодействия этих начал сохранился.

Сергей АБЕРИНЦЕВ

Бахыт Кенжеев (р. 1950) вырос в Москве. Его отец — переводчик и преподаватель английского языка; мать — библиотечкарь. В 1973 г. окончил химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Участник знаменитой поэтической группы «Московское время». С 1982 г. живет в Канаде.

Первая публикация на родине — в ж. «Юность» (1976), на Западе — в ж. «Контиент» (1977). Первая книга стихов «Избранная лирика 1970–1981» вышла в издательстве «Ардис» (1984). Другие поэтические книги: «Осень в Америке» (1986); «Стихи последних лет» (1992); «Апо эрго сум» (1993); «Возвращение» (1997); «Сочинитель звезд» (1997); «Снятая пелена» (2000).

Автор романов «Младший брат» (1989), «Плато» (1992), «Иван Безуглов» (1993), «Портрет художника в юности» (1995), «Золото голубиное» (1998).

В Издательстве Независимая Газета скоро выйдет два тома сочинений Бахыта Кенжеева — стихотворный и прозаический.

Бахыт Кенжеев

Прошло, померкло, отгорело,
нет ни позора, ни вины.
Все, поджавшие расстрелу,
убиты и погребены.

И только ветер, свинув брови,
стучит в квартиры до утра,
где спят ласковых предисловий
испытанные мастера.

А мне-то, грешному, все яма
мерещится в гнилой тайге,
где тлеют кости Мандельштама
с фанерной биркой на ноге.

1974

Ю. Кублановскому

Такие бесы в небе крутятся —
Господь спаси и сохрани!
До наступления распутицы
Остались считанные дни.

Какое отыскать занятие,
Чтоб дотянулось до весны?
Мне лица монастырской братии
Давно постылы и скучны.

И не спаслись мне переплюскою,
Не тронуть легкого пера,
Когда такое небо низкое,
И вот волки до утра

В продрогших рошах... Матерь чистая,
Попли свое знаменье мне,
Дай мне услышать твой неистовый,
Твой нежный голос в тишине!

Ни серафима отгекрало,
Ни богомольца, ни купца.
Сто верст от тихого Кириллова
До славного Череповца.

А осень, осень кровью пламенной
Бежит по реке голубой —
В гробу дубовом, в келье каменной
Дыши спокойно... Бог с тобой.

1976

Человек, продолжающий дело отца,
лучший, плачущий, ждущий конца ли,
надышавшийся душной костры,
ты уже исчезаешь в проеме дверином,
утрачиваешь растерянность хлебным вином,
влажной марлей в руках мастелосты.

Сколько было слогов в твоём имени? Два.
Запиши их, садывая ты голову,
хоть на память — ну что ты притиши,
наломавший пол старость осиновых дров
рахитичный детеныш московских дворов,
перепавших и нежилых?

Перестань, через силу кричащий по сне
безнадежный должник на заемном коне,
что ты мечешься, в пальцах держа
уголек, между тьмою и светом в золе?
Видишь — лампа горит на пустынном
столе,

Только тело устало. Смотри, без труда
выпадает душа, как птенец из гнезда,
ты напрасно ее обвинил.
Закрывай же скорей рукотворный букварь —
чтобы крови Творца не увидела тварь,
в темноте говорящая с Ним.

Окраина — сирень, калитка,
окалина и окаринка,
аккордеон и нож ночной.
Кривые яблонь, задворки,
враги, подростки, отговорки,
разборки с братом и женой.

Лад елободей в рассорку продан,
ветшает сердце с каждым годом,
но дорожает, словно дом,
душа — и жителю предместья
не едет делиться бедой чуждою
с небесным медленным дождем.

переживая обложные.

обложные и ледяные
с утра,
с двадцатого числа.
Дорогою в каменоломню
ты помнишь раду? Не помню.
Где свет? Синица унесла.

Устала, милая? Немножко.
В ушах частушка ли, гармошка,
луной в углу озарена
скороспелая иконка.
Играй, пластинка, тонко-тонко —
струнись, сыняе из окна,

дуй, ветер осени — что ветер
у Пушкина — один на свете —
вдаль осинный листок
туда, где птицам петь мешая,
зима шевелится большая
за поворотом на восток.

Дворами проходит, старье, восклицает,
берем.

Мешанская речь расстилается мшистым
ковром
по серой брусчатке, глумим палисадникам,
где
настурция, ирис, и тяжесть шмель
в резеде.

Подвальная бедность, наследие
выспренных лет...
Я сам мешанин — повторяю за Пушкиным
вслед,
и мучаю память, опять воскресить не могу
ковер с лебедями и замок на том берегу.

Какая работа! Какая свобода, старик!
Махнемся не глядя, я тоже к потерям
привык,
недаром всю юность брезгливо за нами
седил
угрюмый товарищ, в железных очках
господин.

Стекло диво, лиловый аптечный
флаккон
роняя на камни, медя на ладони держа —
еще отышу тебя, чтобы пригнать на поклон —
владельца пистонов, хлопнушек, складного
ножа...

Потому что в книгах старых жизнь
ушедшая болит,
всякий миг ее в подарок слух и зрение
опалит:
вол рассветных переливов, облысевшая
гора,
серебристые оливы голубинного пера.

Но чудней всего на свете это озеро, смотри,
где закидывают сети молодые рыбаки,
труд и гордость Галилея — выдвиги, средь
высоких волн
их добыча, тяжелея, накрывает тесный
челн?

Оклинает их прохожий неизвестный
человек.
Это сын любимый Божий, друг поэтов
и калек.
И на тяжкий подвиг — много тяжелее тех
сетей, —
он зовет во имя Бога незадачливых детей.

И в пророческом зеркале по грядущим
временам
ходят ставшие лодками и заступниками
нам,
в вере твердой, словно камень, с каждым
нам,
плещут рыбы плавниками в ненаглядной
глубине.

Не горюй, не праздничай труса, пусть стоит
перед тобой
чистый облик Иисуса в легкой тверди
голубой,
пусть погибнуть мы могли бы, как земная
красота,
но плывет над нами рыба — образ
Господа Христа.

Говори — словно боль заговаривай,
бормочи без оглядки, терпи.
Индевет закатное зарево
и юродливый спит на цепи.

Было солону, ветрено, молодое.
За рекою казенный завод

крепким запахом хмеля и солода
красноглазую мглу обдает

до сих пор — но зачем-то перемелется,
хмель увянет, послушай меня.
Спит святой человек, не шевелится,
несуразные страсти бубня.

Скоро, скоро лунчика отщепится
от подрубленного ствола —
дунет скороговоркой, нелепицей
в занавешенные зеркала,

холодеющий ночью анисовой,
догогорающий сорной травой —
все равно говори, переписывай
розоватый узор звуковой...

Когда безлиственный народ на промысел
выходит в город нефтяной, и за серпце
несытой песенкой, когда в один восходят
миг

полян-трава и лебеда в полях отцов твоих,
чего же хочешь ты, о чем задумался, дружок?
Следи за солнечным лучом, пока он
не прожжет
зрачка, пока еще не все застыли в глыбах
льда,
еще, как крысы в колесе, тебе невесты куда
по неродной бежать стране вселенной,
напролом,
и беловать наедине с бумагой и огнем.

Век фараоновых побед приблизился
к концу,
безглазый жнец влачится вслед небесному
птенцу,
в такие годы дешева — бесплатна, может
быть, —
наука связывать слова и звуки теревить,
мешать без соли и дрожжей муку и молоко,
дышать без лишнего мятжея, и умирать
легко.

Быть может, двести лет пройдет, когда
грядущий друг
сквозь силу тяжести поймет высокий,
страшный звук
не лиры, нет — одной струны, одной струны
стальной,
что ветром веры и вины летел перед тобой.

Любому веку нужен свой язык.
Здесь Белый бы поставил рыбку «зык».
Старик любил мистические бури,
таинственное золото в лазури,
поэт и подубог, не то что мы,
изгнанник символического рая,
он различал с веранды, умирал,
ржавевшие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пинт,
Гони мерзавца в дверь — вернется через
окошко. И провидческой ересь
в неистовой печали забубнит,
на скрипочке оплачет времена
античные, чтоб публика не знала
его в лицо — и молча рухнет на
перроне Царскосельского вокзала.

Еще одна: курит и врал,
и шапочки вязала на продажу,
морская дочь, изменившая, вдова,
всю пражу извела, чернее сажи
была лицом. Любвишная, как сто
сестер и жен, веревкою бесплатной
обвязывает горло — и никто
не гонит ей селеющие патлы.

Любому веку... Брось, при чем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.
Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь, Антоновка в руке,
когда сентябрь. И отпель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро сналась
строка на неизвестном языке.

Век обозленного вздоха,
провинциальных затей.
Вот и уходит эпоха
тайной свободы твоей.
Вытрем солдатскую плешку,
в нечет сыграем и чет,
серую глаза обложку
книги за собственный счет.

Помнишь, как в дворишках русских

малышки, дети химер,
скверный портвейн без закуски
пили за музыку сфер?
Перегорела обила.
Лопнул натянутый трос.
Скверик у злания МИДа
пыльной пылью зарос.

В полупосмертную славу
жизнь превращается, как
едкие слезы Исава
в соль на отцовских руках.
И устающее ухо
слушает ночь напролет
дрожь уходящего духа,
цепь музыкальных длинот...

Льет в Риме дождь, как бы твердый:
«Верь,
ни в яме не исчезнешь ты, ни в шуме
рольных осин» — но умирать злеть,
звезда, волна! И даже Бродский умер.

То жнец, то швец, то в дудочку играя,
губа в крови, защитный плащ засален —
уже другой, еще живой певец
растерянно молчит среди развалин.

Не хочет ни смеяться он, ни быть.
Латынью пахнет в каменном тумане.
Ну что еще осталось? Все забыть
и все назвать своими именами?

Но в этот час безлюден Колизей,
лишь на стене чернеет в лунном свете
посланье от неведомых друзей —
«Мы были здесь: Сережа, Али, Петя».

Среди длинных рек, среди пыльных книг
человек-песок ко всему привык,
но язык его вспоминает свист, подвиг,
выцветший черновик,
поздний запах моря, родной порог,
известняк, что не сохранил
отпечатков окаменевших строк,
старомодных рыжих чернил.

Где, в какой элде, где смерти нет,
обрувает ладный его душа
и глядит младенцем на дальний свет
из прохладного палаша?
Выползает зверь из вечерних нор,
пастушок молча плетет венки,
и ведут созвездия первый спор —
кто волчок, а кто шенок.

И пока над крышей вибрирует норд-ост,
человечьи очи глотают тьму,
в неурочный час сочинитель звел
робко болтует, потому
что влечет его океан, влечет, обольщает,
звенит, течет —
и живой земли голубой волчок
колыбельную песню поет.

То ли храм, то ли дворик заброшенный,
то ли
время летних каникул в оставленной
школе,
ночь, замки, коридоры, смотри
не споткнись —
и нырнешь с черлака в безответную высь,
где по залам негостеприимной вселенной
бродит Гей в обнимку с безумной Селеной,
и любуются пылкой галактики они
на правах небогатой родни...
Бормоча, бродит Гей по вечноному кругу,
за собою ведет приживалку-подросту,
помолчи, говорит, ни о чем не жаль...
И несет холодком из небесных шелей.

Когда пронзительный и пестрый
горит октябрь в оконной раме
бокастым яблоком с погоста,
простудой, слякотью, кошмарами —
еще потрескивает хворост,
страница влажная дымит,
но зрос сдерживает голос,
и сердцу горестное снится.
А где-то царствует иная
страсть — только я ее не знаю,
заворожен своей странною,
то ледяной, то любяною.

Шуршит песок, трепещет ива,
ветшает брошенное слово
на кромке шаткого залива,

замерзшего, полуживого,
где ветер, полон солью пресной,
прозает престелью воскресной,
где тело белствует немое,
и не мось, и не чужое —
лишь в космосе многоокомном
бессмертный смерд и князь рогатый
торгуют грозным, незаконным
восторгом жизни небогатой...

Вещи осени: тыква и брюква.
Земляные плоды октября.
Так топорщится каждая буква,
так, признавшись, намазая я.
Вещи осени: брюква и тыква,
горло, обморок, изморось, медь,
все, что только сегодня возникло,
а назавтра спешит умереть,
все, которые только возникли,
и взошли, и мигом притихли,
лишь молитву твердят невопад — там,
в заоблачной тьме, не для них ли
многоотрунные астры горят?

Успросил, и они отвечали.
Уходя, не менялся в лице.
Побелеет железо вначале
и окалиной станет в конце.
Допивай свою легкую волку
на крутой роликковой волде,
от рождения отдай на откуп
не хмелеющей осени, где
мир, хворающий ясною язвой,
выбегает наперерез
ветру времени, вечности праздной,
сносжению влажных небес...

Наиболее просвещенные из коллег
уверяют, что я повторяюсь, что я
постарел, но не вырос. Влажный вечерний
снег
бьет в глаза, и перчатки куда-то пропали.
Стоит
ли мельтешить, оправдываться на бегу,
преувеличивая свои достоинства во сто
раз — если что и скажу, то невольно, увы,
солгу —
без дурного умысла, без корысти, просто
по привычке. От правды в холодный пот
может бросить любого, затем-то поэт,
болезный,
и настраивает свой фальшет-эхолот,
проверяя рельеф равнодушной бездны.

В сталкитовых сумерках, когда разницы
нет
между ведущим, между ведомым
и неведомым, зажигая свет
в месте, которое я называю домом
(а зачем, если астры и так горят?),
наконец очнусь и лицо умою —
на гранитной равнине, где виноград
вымерзает каждой сельской зимой, —
я еще готов затеряться, застыть,
заговориться, перед людьми позориться,
битый час с похмелья готов глядеть
в ослепительную ледяную прорезь
в небосводе, открытую только мне.
Поклитель пения при луне,
перестарок-волк, как сияет она, вернее —
схороненное в пустоте за нею...

На том конце земли, где сняты сны
стеклянные, серые валуны
и можжевельник в изморози синей —
кто навлигается, кто мелит вдалеке?
Неужто осень? На ее платке
алет роза и сверкает иней.

Жизнь хороша, особенно к концу,
писал старик, и по его лицу
бежали слезы, смешанные с потом.
Он вытер их. Младенец за стеной
заснул, затих. Чай в кружке расплюскал
давно остыл. И снова шорох — кто там

расправил суматошные крыла?
А, мысль летучая. Такие, брат, дела.
Спит ночь-придальница, спит
музыка-ткачиха,
мне моря хочется, а суждена — река,
течет себе, тепла, неглубока,
и мы с тобой, возлюбленная, тихо

плывем во времени, и что нам князь
Гвидон,
который выгнал дню и вышел вой
на презный брег из бочки винной...
Как мне убедиться что жизнь — не сон,
не сон,

но вещь протяжная, как колокольный звон
над среднерусскою равниной? —

Книгу вечную молча листая —
каждый знак докрасна раскален —
слышши, осень шумит золотая,
луг, калина, береза и клен!
Смысл упалка — не узнаи, не назван —
за срагом шкалой поет,
легким астрбом крестообразным
в одноразовом небе плывет.
Здесь, в его светосном жилище,
мировторы блаженны, и нищие.
Превращаются камни в хлеба.
И огнем — чудотворною пищею —
насыщается наша судьба.

Но когда раскаленные меркнут
облака, в неустойчивый час,
Людифер, что подстреленный беркут,
побежден, оскорблен и низвергнут,
ослабляется в каждом из нас —
в беззаконной темноте закован,
довоемным двойным языком
дрознит Бога бессмысленным словом —
знать, рассудок ему не закон,
и на черной небесный пергамент,
хохоча в ослепевшую мглу
и кривыми играя судами,
изрыгает хулу и хвалу.

Я шагал с эпохой в ногу, знал поэтов
и певцов,
знал художников немногих, и известных
мудрецов.
Рассуждал о коммунизме, о стихах,
о смысле жизни,
или шахматной игрой с ними тешился
порой.

И не просто для забавы эти творческие
лвы
говорили мне, что слава слаще меда
и халвы, —
что ввиду они имели, сочиняя эту речь,
олимпийцы, чем хотели друга скромного
улыб?

Слава — яркая заплатка. Это Пушкин
написал.
Но она же и зарплата, и шампанского
бокал.
Был я полностью согласен и завистливо
глядел,
представлялся мне прекрасен этот
растолстый удел.

Но успешно миновала юность робкая моя.
И давно забочусь мало о таких моментах я.
Больше нет советской власти, лишь
доиспится в ночи:
не иши, бахытик, счастья, легкой смерти
не иши.

Даже слава — только слово, уходящее
во сне,
вроде саша соколова по серебряной лыжне,
вроде рюмки алкоголя, вроде флюксов
на столе —
вроде ветра в чистом поле, в вологодском
феврале...

Где гулок паровозный долог, как смертный
стон,
полосой отчуждения мчатся Бог весть
откуда —
мне пора успокоиться, руки сложив
крестом,
на соеновой полке, в глухом ожиданье чуда.

Побегут видения, почудится визг и вой —
то пожар в степи, то любовь, будто
ад крошечный.
Посмотри, мой ангел, в какой океан сырой
по реке времен уплывает корабль
грешный.

и пускай над ним, как рожок, заплет
строка,
и дождем отольется трель с вороньим
отливом, —
и сверкнет пропашные музыка языка,
диабетом, шестом, счастьем, взрывом —

словно трещина входит в хрустальный куб.
Релье приварен к рельезу, железо — к стали.
Шестсти, душа, не сврываешь с губ,
я устал с дороги. Мы все устали.